

**Анна Матвеева**  
**На озере**

Мама сказала, что мне понравится, а я сначала подумал, что это будет опять то же самое озеро, на которое мы ездили вместе с папой, летом. Но потом я подумал, что папы здесь нет и к тому озеру ехать очень далеко – опять надо будет лететь в самолете. В самолете мне понравилось, только уши болели, когда он взлетал, и мама ругалась, когда я случайно мешал дядьке в соседнем кресле. А летом мы ехали к озеру на папиной машине, и мама молчала всю дорогу, и на озере тоже не разговаривала. Ей не понравились комары и то, что я случайно провалился под воду и папа меня доставал, я весь был потом мокрый, и папа разводил костер, чтобы меня высушить. Маме костер понравился, она всё время сидела около него и вздыхала, а папа говорил, что, наверное, ездить на озеро еще слишком рано, лето получилось холодное.

...Здесь, в Петербурге, мама всегда надевает юбки и бусы и становится почти такая же красивая, как Ольга Витальевна, наш классный руководитель. Ольга Витальевна сказала, что мама зря решила перевести меня в другую школу посреди первого класса, но мама сказала, что уж как-нибудь сама разберется, без Ольги Витальевны, и что я проведу зимние каникулы в Петербурге, привыкну там ко всему и адаптируюсь. Папа сказал, что адаптироваться – это почувствовать себя в своей тарелке. Мама сказала, что папа всегда всё слишком сложно объясняет и что ребенку трудно понять, что такое «в своей тарелке». Но я знаю: «в своей тарелке» – это фразеологический оборот, нам объясняла Ольга Витальевна. У нас в школе была очень сложная программа, а в Петербурге, говорят, еще сложнее. Но Ольга Витальевна сказала, что я справлюсь и что я должен быть сильным.

Озеро, на которое мы едем в Петербурге, находится в театре – мама говорит, что в этот театр обычно пускают одних только иностранцев, потому что это бывший царский театр, маленький, и много народу туда не влезает. Билеты ей принесли на новой работе, из-за которой мама решила переехать в Петербург.

Пока мы здесь не устроились, живем в маленькой чужой квартире, где пахнет чужими вещами и кошкой, и ездим в ужасно глубоком метро – даже не видно дна. Ольга Витальевна говорила, что это самое глубокое метро в мире. В метро я смотрю, как моя рука догоняет мамину на поручне, хотя я рукой совсем почти не двигаю.

На Дворцовой площади мама заставила меня вставить сначала на фоне колонны, потом на фоне арки, а потом – на фоне зеленого дворца. В этом дворце музей, а раньше здесь жил царь с дочками и сыном. Ленин – которому в нашем городе стоит памятник на площади с елкой – устроил в Петербурге революцию, царя с дочками и сыном увезли к нам на Урал, застрелили, а потом сожгли. Папа возил меня на Ганину Яму, где сжигали царя, – я думал, это просто большая яма, а на самом деле там много маленьких деревянных церквей с такими же зелеными, как этот дворец, крышами. Внутри темно, печка и бородатые старики запрещают бегать и громко спрашивать у папы, можно ли поставить свечку, а потом задуть. Яму почти не видно, вокруг нее деревянные мостики и большой крест в честь царя. Я не могу сложить в голове того царя, из дворца, с этим – с Ганиной Ямы, мне всё время кажется, что это были совсем разные люди.

Про революцию, Ленина и царя мне рассказывал папа, и теперь я не хочу слушать, как мне всё то же самое, только скучнее, рассказывает Глебсон. Он на самом деле Глеб Борисович, мамин друг, но мы в школе одного Глеба из третьего класса дразнили Глебсоном, и этого Борисовича я тоже называю Глебсоном, когда он и мама не слышат.

Ольга Витальевна говорит, что это значит – говорить про себя, хотя я-то говорю не про себя, а про Глебсона... Так вот, я не хочу слушать, как Глебсон рассказывает папину историю своим писклявым голосом, и не хочу смотреть, как он показывает vareжкой на крейсер «Аврора», и не хочу фотографироваться, когда он достает камеру.

– Петенька, встань сюда, солнышко! – это мама.

– Петр, приготовься, снимаю, – это пищит Глебсон. У него голос как у того комментатора лыжного, над которым мы всегда смеялись с папой: голос как у комара.

Я натягиваю на лицо шапку, так что на снимке будет одежда без человека на фоне зеленого дворца. Я вообще-то не хотел переезжать в Петербург, и на это озеро с Глебсоном и мамой я тоже идти не хочу.

Глебсон обиженно цыкает, мама злится, наклоняется ко мне, я уже знаю, что она сейчас сделает – схватит мою руку и выпустит в нее ногти, как будто кошка.

У моей мамы сразу две профессии: она детский психолог и еще – сапожник без сапог. Это она сама так про себя говорит. И еще она говорит, что часто поступает со мной неправильно, не так, как советует поступать с детьми другим родителям.

Я очень люблю свою маму. Мамочка, я тебя люблю. А вот ты меня не любишь, потому что заставляешь ходить по Петербургу с Глебсоном и фотографироваться на каждом углу.

Мимо нас проехала розовая карета.

– Какой китч, Жанночка, не находишь? – радостно спрашивает Глебсон. Этот Глебсон больше похож на тетеньку, чем на мужчину, как тот комментатор-комар.

– Да, это не очень по-петербургски, – отвечает мама, волоча меня за руку мимо толстой лошади с длинной, как у Ленки Караваевой, челкой. Ленка Караваева обещала написать мне электронное письмо, но мама только собирается купить домой компьютер.

Мы свернули направо, там – то озеро, которое обещала мама. На самом деле там река Нева: лед в ней стоит маленьким дыбом; если спуститься туда, к воде, и сфотографироваться, а потом прислать снимок папе и в школу, то никто не поверит, что я в Петербурге. Все подумают, что я в Антарктиде.

Вот бы Глебсон сфоткал меня там, у лесенок! Я бегу вниз скорее, пока они не опомнились, но Глебсон верещит:

– Ах, Жанночка, он у тебя такой... лихой! Как же с ним справиться?

Мама догоняет меня на последней ступеньке и с размаху шлепает по плечу. Не больно. Даже не обидно. Обидно, что фотографии из Антарктиды не будет.

– Мы идем в театр, Петя! В театр, понимаешь? На «Лебединое озеро». А ты, не думая о новых брюках, бежишь к воде.

– Не говоря уже о том, – добавляет Глебсон, – что это очень опасно, Петр. У нас в Санкт-Петербурге регулярно гибнут люди во время ледохода.

Глебсон скачет рядом с мамой, у него совершенно идиотская походка, и мне не нравится, как он всё время дышит тяжело, с открытым ртом. У него какой-то вечный насморк. И волосы стоят большим дыбом.

Театр с озером совершенно не похож на театр – просто дверь во дворец, с набережной. На другом берегу, там, где крепость, – большая надпись из ледяных букв – «С Ровым годом!».

– Это они уже переставляют, под Рождество, – объясняет Глебсон, – если написать в одну строчку «сновымгодом» и «срождеством», то ты увидишь, что количество букв одинаковое.

Мой папа в таких случаях говорит: «Отлично объясняешь, брат, как раз понятно для ребенка». Но я, если честно, понимаю, что Глебсон хотел сказать, и мне даже становится его немножко жалко. Он ужасно хочет мне понравиться, но не для меня, а для мамы. Я закрываю глаза и представляю, что на месте Глебсона – папа, это с ним мы идем по заледеневшей набережной Невы, и мама улыбается ему, а не Глебсону. Точно так же здесь, в Петербурге, я ложусь спать на чужом старом диване и представляю себе, что на самом деле лежу дома, в своей кровати, и на стене – старая бабушкина икона, и часы с шишечками, и за стеной папа смотрит биатлон. Пока лежишь, пока темно, во всё это можно запросто поверить: ночью всё возвращается, и я – как будто! – снова дома. Глебсон сказал, что место в этом театре надо занимать самим, как в трамвае, – потому что на билетах нет никаких мест. Мама улыбается, но я вижу, что ей это не очень нравится: она не любит бежать впереди всех или обманывать, что стояла в очереди, папа всегда сердится на нее в самолете, что она сидит до самого последнего пассажира и выходит чуть ли не вместе с пилотами. Зато папе, наверное, понравилось бы, как Глебсон бежит впереди всех и даже легонько толкает китайскую женщину в бок – и потом машет нам из гардероба, и очки у него блестят счастливыми кругляшками. Глебсон на ходу уже стащил с себя куртку и красный шарфик и теперь одной рукой пытается взять у мамы шубу. Китайская женщина смотрит на Глебсона с обидой, но он уже мчится в зал, ему надо занимать места. Озера никакого пока не видно, но я уже понял, что оно будет на сцене. Когда мы с мамой заходим в маленький круглый зал с красивым занавесом, ушастая голова Глебсона оборачивается к нам с первого ряда. Мы сидим так близко, что как будто оказываемся среди музыкантов – правда, из музыкантов пришли только две девушки с дудками и скрипач.

– Жанночка, хочешь анекдот про скрипача? – жарко шепчет Глебсон маме на ухо, перевалившись через меня. Мелкие капельки Глебсоновой слюны летят по воздуху, я уклоняюсь от них, но всё-таки прислушиваюсь – вообще-то, я очень люблю анекдоты. Я их читаю в «Ералаше», когда мама мне его покупает, а вот Ольга Витальевна говорит, что рассказывать анекдоты не всегда прилично.

Глебсон рассказывает непонятный анекдот про мышинный оркестр – что один мужик решил набрать целый оркестр мышей, и вот на всех инструментах у него играют мыши, и только на первой скрипке – еврей. Я не понимаю, что смешного, и мама тоже смеется ненастоящим смехом – когда рот улыбается, а глаза смотрят серьезно и даже обиженно. Как раз в этот момент в зал приходят музыканты и главный скрипач, которого все остальные уважительно трясут за руку. Вначале я подумал, что это дирижер – мама объясняла, что на озере будет дирижер, и, когда он обернется, надо хлопать.

Все и так хлопают – китайская женщина, которая сидит рядом с Глебсоном, даже подняла руки выше головы. Дирижер тоже поднимает руки, будто сдаётся своим музыкантам, и начинается музыка.

У нас в школе на уроках музыки мы проходили музыку композитора Чайковского, и Ленка Караваева по ошибке сказала, что его зовут Корней Иванович. А мне на том уроке записали в дневнике «Дерется ногами!!!», хотя мы с Пашкой не дрались, а просто замеряли, кто кого первый достанет через проход.

Музыка красивая, но идет ужасно долго, а Глебсон за моей спиной пытается ухватить маму за плечо. Мне скучно, я думал, что на озере будет интереснее. Наконец занавес открывается, но там опять нет озера, а ходят на носочках худые и длинные люди.

– Это принц Зигфрид, – шепотом пищит мне в ухо Глебсон и показывает пальцем на самого тощего из всех на сцене – он еще и в белых колготках и с нарумяненными щеками. Очень противный, а на сцене все с ним так вежливо обращаются и танцуют вокруг него, хотя видно, что этому принцу Зигфриду на них наплевать. Он так поджимает губки и высоко задирает свои ноги в колготках, что я начинаю смеяться, и мама дергает меня за руку.

– Петр, – шепчет Глебсон, – это гениальная постановка, поверь.

Молодец, брат, как раз понятно для ребенка, думаю я и заставляю себя смотреть на сцену, хотя там почти ничего не меняется – колготочник Зигфрид всё так же выделяется перед своими гостями, а потом его мама-королева дарит ему настоящий арбалет. И как вы думаете, он обрадовался этому арбалету? Он начал так скакать, так размахивать руками и ногами, что чуть не вылетел, честное слово, со сцены – я даже испугался за музыкантов, ведь Зигфрид скакал прямо у них над головами. Мне понравилась из музыкантов одна девушка с дудкой (Глебсон сказал, это флейта), она когда начинала играть, всегда видно было, какая она на самом деле веселая, а когда она не играла, то тихонько разговаривала со своей соседкой, и дирижер – я видел! – строго смотрел на них, как Ольга Витальевна иногда смотрит на нас с Караваевой.

– Петр, если высидишь, – снова Глебсон в моем ухе, – я тебя с мамой поведу в ресторан на Невском – это настоящий викингский ресторан, там есть доспехи и шкуры на стенках.

Я хочу в викингский ресторан, и пытаюсь перестать вздыхать, и хлопаю вместе со всеми, пока Зигфрид подглядывает за девушками в белых юбках. Это девушки-лебеди, а у него в руках арбалет, сейчас как пальнет!..

Китайская женщина тем временем засыпает и заметно кренился во сне в сторону Глебсона. Он вздрагивает, китайская женщина просыпается, и тут занавес на секундочку закрывается. Все хлопают, Глебсон пищит: «Браво!» – и потом объясняет маме:

– Зигфрид сегодня исключительный!

Исключительный Зигфрид уже снова стоит на сцене, и, главное, там теперь озеро! Я вытягиваю шею, но не вижу ни костра, ни волн, а только музыка играет так печально, что мне хочется плакать и спать сразу. Девушка из оркестра дудит в свою флейту, а балерины в белых коротких платьях танцуют перед этим дураком Зигфридом.

Папа мне объяснял, что словом «дурак» можно ругаться, а вот словом «чмо» лучше не надо. При этом сам папа всё время ругается «чмом», и я слышал однажды ночью, как они с мамой ругались, и папа крикнул: «Да этот твой, из Питера, он же полное чмо!» А мама заплакала, и тогда я тоже заплакал. Раньше, когда я плакал, мама или папа обязательно приходили ко мне в комнату, а тогда никто не пришел, и я долго боялся засыпать.

У балерин юбки как дольки ананаса из банки – только белые. Караваева мне однажды по секрету сказала, что будет балериной, а я ей тоже по секрету сказал, что буду изобретателем. Я уже много всего придумал, что надо изобрести – особенно таблетки от смерти и еще такую машинку, чтобы люди ничего не забывали. Я рассказал Ольге Витальевне про эту машинку, а она засмеялась и сказала: «Петя, вот мне бы лично хотелось другую машинку – чтобы кое-что забыть навсегда!»

Одна лебединая балерина выпорхнула из стаи и стала особенно красиво кружиться перед Зигфридом – он, кстати, всё еще был в колготках. Жуть какая. У нас, если парень приходит в школу в колготках, значит, полное чмо. Ну то есть дурак. А этот еще в белых колготках и с арбалетом не умеет обращаться. Лебедия кружила, кружила перед Зигфридом, а в кустах, рядом с озером, прятался кто-то в черном: вот он мне понравился. Я люблю, когда в мультфильмах или книгах есть кто-то страшный или злой – они всегда в черном и с ними интересно. Мама водила меня и Караваеву на церковную елку, спектакль там был – скукота. Ангелы, дети, которые всё время за всех молятся, и никого страшного или злого. Караваева в тишине громко сказала: «Боже мой, да что ж они все такие добрые-то!», и мама вначале рассердилась, а потом, когда рассказывала караваевской маме об этом, она уже смеялась.

– О да, – улыбнулась караваевская мама, – без отрицательных героев нет интриги, и дети это превосходно чувствуют.

Караваевская мама не умеет говорить, как обычные люди, и Ленка ее поэтому немножко стесняется. А моя мама говорит, что караваевская мама одевается, как стриптизерша. Я не знаю, кто такая стриптизерша, но всё время замечаю, какие у караваевской мамы здоровенные лифчики. Пашка говорит, что лифчики вырастают у всех девчонок, но не у всех получаются такие здоровенные. Хорошо, что Ленка не слышала, как мы с Пашкой про это разговаривали.

– Кто такая стриптизерша? – спрашиваю я у мамы, потому что лебедия и Зигфрид всё никак не перестанут танцевать, а того в черном видно очень плохо, и от этого мне снова скучно.

Наверное, я спросил слишком громко, потому что девушка в оркестре (она не играла) широко улыбнулась, а мама впилась мне коготками в плечо:

– Прекрати немедленно!

Глебсон пытается мне помочь, шепчет на ухо:

– Вот тот, в черном, – злой волшебник Ротбарт. Он заколдовал Одетту, и только Зигфрид может теперь ее спасти.

Ну да, этот колготочник даже сам себя спасти не сможет!

И вот наконец закрылся занавес, у меня даже не было сил встать, но, когда Глебсон сказал, что мы пойдем в буфет, силы немножко появились. Это первый антракт на этом озере, и будет еще один.

Музыканты ушли, оставили инструменты, а девушка с флейтой помахала мне рукой.

...Называется, сходили в буфет. Там была такая очередь, что мама сразу отказалась стоять и пошла искать место, где можно покурить. Бедный Глебсон тоже хотел покурить, но кому-то надо было остаться со мной, и мы стояли в очереди. Курили все на лестнице, дым от сигарет прилетал к нам в очередь, и Глебсон его нюхал и всё время завистливо озирался.

Перед нами стояли иностранцы, это Глебсон мне сказал, что они иностранцы – я бы не понял, люди как люди. Но, когда подошла их очередь и уже вернулась мама (с мятной таблеткой во рту), эти иностранцы начали всё путать. Очень смешно. Один называл воду «водицка», а другой говорил, что хочет «пирошки», Глебсон вздыхал, терпел, а потом как заговорит с ними по-английски – даже быстрее, чем Ольга Витальевна умеет. Иностранцы ужасно обрадовались, и Глебсон им всё-всё перевел. Я даже немного гордился им, а вот маме это не понравилось, потому что, пока Глебсон всё переводил, прозвенели все звонки, и надо было опять возвращаться на озеро. А иностранцы остались в буфете есть свою еду. Глебсон всё время на них оборачивался и улыбался – как сказала бы Ольга Витальевна, «любезно». И китайская женщина тоже осталась в буфете.

– Нельзя заходить в зал, когда звучит музыка, это неуважение к музыкантам, – сказала мама.

Когда мы зашли в зал, уже все музыканты сидели на местах. Начался второй акт. Мне хотелось спать, кока-колы, домой в мой город и чтобы мама не сердилась. Мне не очень нравилось это озеро.

Колготочник Зигфрид вышел на сцену с глупым видом и опять начал ужасно высоко задира́ть ноги. Если честно, ноги у него действительно задирались высоко – прямо как в цирке. И он был очень похож на робота, только на дурацкого. Глебсон после этих скачков заорал Зигфриду «Браво!», и все в зале тоже закричали «Браво!» вслед за Глебсоном, китайская женщина в это время пробиралась на свое место, согнувшись пополам. Потом Зигфрид уселся на трон и стал рассматривать балерин с таким видом, как будто они все ужасные уродины и к нему пристаю́т. А он помнит ту лебеди́ню с озера, которую заколдовал волшебник Ротбарт, и никакие другие балерины ему не нравятся. А его мама, которая дала ему арбалет (кстати, где арбалет-то? Не умеет играть с нормальными вещами, вот и закинул куда-то), наоборот, заставляет его смотреть на этих балерин.

– Ему надо жениться, – это опять Глебсон, с пояснениями, но смотрит при этом на мою маму, как сказала бы Ольга Витальевна, загадочно. Китайская женщина снова спит, опустила голову и делает вид, что слушает музыку.

И тут наконец на сцене появляется опять тот волшебник в черном – Ротбарт. И с ним девушка Одиллия (спасибо, Глебсон). Колготочник тут же оживляется, начинает кружить вокруг Одиллии (она тоже вся в черных одеждах, как волшебница) и тоже очень высоко прыгает, задирает ноги. Балет, в общем. Жаль, что Ленки Караваевой здесь нет, ей бы понравилось это озеро, наверное. И Ольге Витальевне – тоже. Она мне сказала на прощанье: Петербург – это город большой культуры. И еще это – город Петра, а значит, Петенька, это немного и твой город.

Я смотрю, как скачут по сцене колготочник с черной балериной, и вспоминаю своего папу – на озере.

Мой папа очень сильный и очень добрый. Мама всегда раньше говорила – запомни, Петенька, твой отец невероятно добрый человек. Потом она стала говорить немножко по-другому – «твой отец слишком добрый человек, с ним трудно жить». Не понимаю. Добрый – это же хорошо. Всегда все хотят добрую маму, доброго папу, добрую учительницу.

А у мамы это слово – «добрый» – получилось какое-то обидное.

Папа любит лес, природу, рыбалку и охоту. Он не любит магазины, театры, гостей – всё, что любит мама. И поэтому им вместе трудно. Бабушка Вера (папина мама) мне сказала, что мама совсем другой, чем папа, человек, а бабушка Таня (мамина мама) сказала, что папа никогда не думает про маму, а всегда хочет убежать в свой лес и палить там по глухарям.

Но ведь в лесу правда хорошо. Мне нравится. Мне нравится наш лес, Урал – и наши невысокие горы, и озеро. Папа очень ловко умеет разводить костер, и еще он срезал мне удочку и научил ловить рыбу. Первую рыбку я поймал почти сразу, как закинул удочку, но мне стало ее жаль, и поэтому папа ее отпустил обратно, в озеро.

Я смотрю на тонкий, ужасно тонкий нос Глебсона и думаю, что он (Глебсон, а не его нос), скорее всего, не умеет разводить костер и ловить рыбу – с ним на озере было бы нечего делать. На этом озере, в театре, он как дома, зато папу я здесь представить не могу: наш папа не любит балет. Я очень устал обо всём этом думать. Одиллия с Ротбартом обманули колготочника, и он начал вытанцовывать с ней вместо своей лебедины. Обманутая лебедина тоже выпорхнула на сцену, колготочник понял, что ошибся, но было уже поздно. Занавес закрылся, и они все начали выходить и кланяться – особенно долго кланялась Одиллия, как будто бы не знала, что это нескромно – так хвастаться собой. Ольга Витальевна всегда говорит: «Первый “а”, не хвастайтесь и не перебивайте друг друга, это некультурно». Но Одиллия всё улыбалась и кланялась, приседала, под мышками у нее было черно от пота.

Вот сейчас мама снова умчится курить. Еще из-за этого они с папой постоянно ссорились. Папа никогда не курил и всегда говорил маме: «Разве я думал, что у меня будет курящая жена?» А мама ему отвечала странно: «Любишь меня – люби мой зонтик!»

Еще папа не любил мамину подругу Наташу. Она не разрешала себя называть «тетя Наташа», а только – Наташа, как будто девочка. Я ее, наоборот, всегда очень любил, она красивая и хорошо пахнет, и мне в ней не нравилось только то, что она всегда просила показать ей мой дневник. А потом листала его и смеялась, хотя там вообще-то нет ничего смешного.

Глебсон вот тоже – курит. Они с мамой вечерами подолгу курят на кухне, а меня заставляют пораньше ложиться спать.

В антракте китайская женщина исчезла – Глебсон снова перегнулся через меня и шепнул маме: «Отряд не заметил потери бойца». Начинался последний, третий акт.

Я смотрю на озеро, на то озеро, что на сцене, смотрю, как лебедия и колготочник танцуют друг с другом, и вспоминаю другое озеро – наше с папой. И тут я засыпаю и вижу страшный сон под музыку – будто бы Глебсон живет теперь в нашем доме и он стал моим папой. Кажется, я кричу во сне, потому что мама вдруг берет меня на руки и начинает плакать, и все вокруг в театре, наверное, думают, что она плачет от музыки и оттого, что колготочник так высоко задирает ноги и красиво прыгает. Глебсон тоже чуть не плачет, но тут наконец балет заканчивается, и снова все выходят кланяться, даже черная Одиллия, которой вообще-то в этом акте не было.

Я очень сильно хлопаю – от радости, что всё это закончилось, и оттого, что сейчас можно будет пойти домой. Мы снова пройдем пешком через Дворцовую, потом чуть-чуть по Невскому и спустимся в метро – самое глубокое в мире. Никакого ресторана викингов со шкурами, конечно, уже не будет – слишком поздно, мне завтра в школу. На эскалаторе Глебсон будет заглядывать маме в глаза и поправлять свой шарфик, вытягивая шею, как голубь. Мама будет молчать и улыбаться одними губами. А я – вспоминать про Ольгу Витальевну и Ленку Караваеву и думать о том, что зима скоро закончится и что летом мы с папой и мамой, как в прошлом году, обязательно поедem на озеро.